



Александр Пронин

Точка отказа

Александр Пронин

Точка отказа

<https://litres.ru/74281874>

SelfPub; 2026

Аннотация

Здесь эмоции выдают по строгой квоте, а за лишние слезы грозит изгнание. Здесь под диваном из собственной осыпающейся кожи собирается твой идеальный двойник. Здесь живые биомеханические болиды плачут биоэлектрическими импульсами, когда их пилоты уходят на пенсию, а в старых механических часах живет память о войнах, которых не помнят люди.

От киберпанка и мрачных антиутопий до мистического хоррора и трогательного магического реализма. Этот сборник — зеркало, в котором отражаются наши страхи перед технологическим одиночеством и наши надежды на спасение.

Содержание

Глава	4
КВОТА НА СОЧУВСТВИЕ	5
ПЫЛЬ	16
ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ	20
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Точка отказа

Глава

КВОТА НА СОЧУВСТВИЕ1

ОКНО НА ПРОТИВ7

ПЫЛЬ13

ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ17

ПРОЕКТ «СОН»24

ДОКТОР ВЕРНЕР29

СВОБОДНЫЙ УЗЕЛ33

ВЕЧНЫЙ СТРАННИК37

КОМПОЗИТОР42

ПОТЕРТЫЙ КОРПУС47

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ50

АРХИВАРИУС55

ПРОТОКОЛ 661

СИНАПС67

КРИКИ ИЗ БЕЗДНЫ74

КВОТА НА СОЧУВСТВИЕ

Я узнал, что Мухтар умер, когда чип ещё не проснулся.

Пока индикатор в виске тёмный, ты можешь чувствовать что угодно. Но стоит чипу зафиксировать активность — он начинает считать. Каждую секунду горя. Каждый всплеск адреналина.

Мухтару было четырнадцать. Умер ночью, от старости. Я нашёл его утром, лёгким, как щенок. Прижал к груди и заплакал. Честно, бездумно. Потом чип щёлкнул — зелёный индикатор в виске вспыхнул, и я почувствовал, как что-то внутри начинает считать.

На неделе уволили Кирилла. Он сидел за соседним столом три года. Мы не были друзьями в старом смысле — не ходили в гости, не звонили по вечерам. Но он знал, что я пью кофе без сахара, и приносил печенье, когда забывал обед. Я знал, что у него аллергия на латекс, и напоминал, когда начальство раздавало перчатки.

Это и есть дружба теперь. Мелочи, которые не тратят квоту.

Его уволили за «избыточную эмоциональную реактивность». Он спорил с начальником по срокам. Голос повысился. Чип зафиксировал всплеск гнева — всего семь процентов, но начальник потребовал проверки. Аудит: за месяц

Кирилл потратил сорок два процента квоты на «негативные эмоции». Превышение. «Социально опасный элемент».

Я узнал в обед. Кирилл стоял у лифта с картонной коробкой. Фоторамка. Кактус. Пачка чая, которую я одолжил. Он посмотрел на меня. Я посмотрел на него.

Я хотел сказать что-то. «Прости». «Удачи». Но чип уже считал. Он чувствовал, как мои лёгкие сжимаются, как горло комок. И блокировал. Лицо каменело — мышцы замерли, словно ввели лидокаин. Глаза сухие. Голос ровный.

«До свидания, Кирилл».

Он кивнул. Не удивился. Все знают, как это работает. Он повернулся и ушёл. Я стоял у лифта, чувствуя, как внутри что-то кричит, а снаружи — пустота. Чип показывал: остаток квоты на горе — ноль целых ноль ноль ноль один процента. Я потратил всё на Мухтара.

Вечером я искал в теновом интернете. Там, где пароли меняются каждый час, сообщения самоуничтожаются через три секунды. «Чёрный рынок эмпатии» — все знают, что он существует. Но доступ — как к наркотикам. Нелегально. Опасно. Наказуемо.

Я нашёл. «Доноры эмоций. Лицензированные переносы». Цены. Горе — дороже радости. Радость — дешевле, потому что её мало кто покупает. Горе — в десять раз дороже. Все тратят квоту на мелочи. На увольнения. На смерти. На то, что нельзя отложить.

Я выбрал. Женщина, тридцать два года. «Донор горя. Ка-

тегория А. Совместимость — 94%». Причина: «Нужны деньги на операцию ребёнку». Заплатил три месяца зарплаты. Криптовалютой. Получил координаты.

Встреча в подвале заброшенного кинотеатра. Пахло плесенью и озоном. Женщина сидела на стуле, подключённая к нейроинтерфейсу. Рядом — техник в грязном халате.

«Лежите».

Он прикрепил электроды к моему виску, к чипу, к виску женщины. «Горе — это не данные, это опыт. Вы будете чувствовать то, что она чувствовала. Не её историю — её боль. Готовы?»

Я кивнул.

Первые три секунды — ничего. Потом — волна. Не моя. Чужая. Тяжёлая, как влажная земля. Я *прожил* комнату в больнице. Белые стены. Трубки. Ребёнок. Не ребёнок — тело. Маленькое, синеющее. И боль, которая не имеет дна. Которая не кричит, а тонет.

Я закричал. Чип в виске загорелся красным — перегрузка. Он не был рассчитан на чужое горе. На горе, не фильтрованное моей биографией. Это было горе женщины, потерявшей сына. И оно не влезало в мою нервную систему, как кулак не влезает в горлышко бутылки.

Я отключился.

Очнулся на скамейке в парке. Техник бросил меня и ушёл. «Неделя восстановления. Но больше не приходите. Ваша совместимость — фигня».

Я сидел. Утро. Солнце. Люди проходили мимо — на работу, в магазины. Все улыбались. Ровными, «разрешёнными» улыбками. Те, у кого квота на радость ещё не исчерпана. Те, кто экономил. Кто умел жить в пределах.

Рядом села женщина. Закрыла глаза. И заплакала. Тихо. Беззвучно. Слезы текли по щекам, а лицо спокойным — чип не блокировал, она ещё не превысила лимит. Она просто плакала. Свободно. Честно.

Я посмотрел на неё. И почувствовал, как мой чип начинает перегреваться. Пытается обработать чужую боль — ту, что я видел, ту, что чувствовал рядом. Но он не мог.

Женщина встала и ушла. Я остался один.

Я смотрел на проходящих людей. На их ровные улыбки. На мир, который не позволял горевать больше, чем положено. Где сочувствие — товар, где эмпатия — квота, где человечность измеряется процентами в чипе.

Я знал, как отключить чип.

Все знают. Чип отключают навсегда только в двух случаях: смертная казнь или изгнание. «Социальная смерть». Тебя выпускают за «Зону Стабильности» и больше не пускают обратно. Без чипа. Без квоты. Без права на возвращение.

Там — ничего. Леса. Поля. Руины. Люди без чипов, которые горят, смеются, плачут, убивают, любят — всё, что угодно, без счёта. Дикие. Нестабильные. Свободные.

Я встал.

Ноги дрожали. Чип пищал в виске — предупреждение о

перегреве. Я прошёл мимо цветочной лавки, мимо кафе, мимо детей с «разрешённым» восторгом. Шёл к ближайшему полицейскому участку. Медленно. Твёрдо.

Я знал, что скажу. «Я хочу отключить чип». Они спросят: «Вы осознаёте последствия?» — «Да». «Готовы к изгнанию?» — «Да».

Потому что лучше быть изгнанником, который может плакать, чем гражданином, который не может.

Лучше гореть в лесу, чем мерзнуть в тепле.

Лучше быть человеком без квоты, чем квотой без человека.

Я увидел полицейского. Стоял у здания, пил кофе, улыбался разрешённой улыбкой. Я сделал шаг к нему. Потом ещё один.

Чип взвыл — последнее предупреждение. И замолчал.

Я подошёл. Полицейский посмотрел на меня. Я открыл рот, чтобы сказать: «Я хочу...»

И заплакал.

Наконец-то. Настоящими слезами. Без счёта. Без квоты. Без чипа.

Он отступил на шаг. Не от страха. От удивления. Он не видел такого давно. Никто не видел.

«Вы...» — начал он.

Я не дал договорить. Я просто стоял и плакал. В центре города. Посреди белого дня. Перед полицейским участком. Без чипа. Без защиты. Без квоты.

Свободный.

Наконец-то свободный.

ОКНО НА ПРОТИВ

Не высоко, не низко — ровно посередине. Достаточно, чтобы слышать голоса с улицы, но не разбирать слов. Достаточно, чтобы видеть крыши, но не чувствовать себя наблюдателем. Окно выходило во двор — асфальт, песочница, три лавки, к которым никто не подходит после девяти. И напротив — такой же дом. Типовой. Панельный. Пятиэтажный. Метров тридцать по прямой, если бросить камень. Я никогда не бросал.

Я заметил его в октябре.

Сидел за столом, пил кофе, смотрел в окно — не на что-то конкретное, просто отдыхал глазами. В окне напротив, на пятом этаже, тоже сидел человек. Силуэт. Спиной ко мне, лицом к своему столу. Я отвёл взгляд. Совпадение. В пятиэтажках все окна похожи, все люди сидят за столами.

На следующий день я встал пораньше. В шесть. Открыл шторы — он уже был там. В том же окне. В той же позе. Рука у лица, локоть на столе. Как я.

Я помахал.

Он не ответил. Но через секунду поднял руку — не мне, к своему лицу, почесал затылок. Точно так, как я делаю, когда думаю.

Я не придал значения.

Неделю спустя я начал проверять.

Встал в семь — он встал в семь. Надел синюю рубашку — на следующий день в его окне мелькнуло синее. Поставил на стол горшок с кактусом — через сутки в его окне появилось что-то круглое, похожее на горшок. Я не различал деталей на таком расстоянии, но форма совпадала.

Я начал играть.

В понедельник в десять утра я встал, подошёл к окну, поднял обе руки. Во вторник в десять он встал, подошёл, поднял руки. Не сразу — с задержкой в несколько секунд, как старая плёнка, которая цепляется за бобину. Я смеялся. Снимал на телефон, показывал друзьям. «Смотрите, у меня двойник напротив». Они кивали, не верили, не понимали, почему это важно.

Важно было то, что я чувствовал власть.

Я знал, что он сделает, потому что я уже сделал. Я мог предсказывать каждое его движение. Он был мой. Мой вчера, который я держал на привязи через тридцать метров двора.

Потом я увидел нож.

Среда. Туман. Я сидел за столом, пил кофе, бросал взгляд напротив — привычка уже, как дышать. Он стоял у окна. Не сидел. Стоял. И смотрел сюда.

Я замер.

Никогда раньше он не поворачивался лицом. Всегда —

профиль, спина, силуэт. А теперь он стоял прямо. Я не различал черт лица на таком расстоянии, но чувствовал — он смотрит. Прямо. На меня.

Он отошёл от окна. Пошёл к столу. Открыл ящик.

Я не двигался.

Он достал оттуда что-то длинное. Повернул в руках, и свет от монитора блеснул по лезвию. Нож. Не кухонный — длинный, узкий. Тот, что я купил три года назад на рынке, «для дачи», и забыл в ящике стола.

Он сел и начал точить.

Медленно. Размеренно. Как я точу карандаш, когда нервничаю. Только это был не карандаш.

Я бросился к столу.

Ящик заело. Я дёрнул — выскочил, ударил коленом. Внутри — бумаги, ручки, старые наушники. И нож. Тот самый. С чёрной ручкой и выщербленным лезвием. Я не доставал его годами. Не точил. Не думал о нём.

Я сидел на полу с ножом в руке и смотрел в окно.

Он уже не точил. Он стоял у стекла. Смотрел сюда. Улыбался — я чувствовал это, не видел. Той улыбкой, которой улыбаешься, когда понимаешь что-то важное. Кривой. Безрадостной.

Я понял.

Не сразу. Сначала отрицал. Считал дни. Если он — мой вчера, то почему вчера я не доставал нож? Почему вчера я не точил его у окна? Почему вчера я не стоял лицом к нему?

Потому что он — не мой вчера.

Он — мой завтра.

Окно показывало не прошлое. Оно показывало будущее. Всё это время я смотрел на то, что со мной случится. И думал, что управляю. Думал, что играю. А я просто следовал сценарию, который уже был написан.

Я бросил нож в ящик. Закрыл. Задёрнул шторы.

Не выходил три дня. Не работал. Не пил кофе в одиннадцать. Надевал разное, делал другое, ложился в половине девятого, вставал в половине двенадцатого. Ломал рутину. Ломал себя.

В четверг я открыл шторы.

Окно напротив было пусто.

Стол на месте. Кружка на месте. Монитор горел — синий, без окон. Но человека не было. Ни за столом. Ни у окна. Ни в углу.

Я смотрел минуту. Десять. Полчаса.

Пусто.

Я облегчённо выдохнул. Значит, сломал. Значит, завтра не случится. Значит, нож останется в ящике, и я останусь здесь, в своей комнате, в своём времени.

Я повернулся.

Шаги за спиной. Медленные. Мягкие. Как мои, когда хожу босиком по линолеуму, чтобы не разбудить соседей снизу.

Я не обернулся сразу. Сначала посмотрел в окно. На пу-

стое окно напротив. На стол. На кружку. На монитор, который горел синим.

И понял.

Если он не в окне — значит, он уже вышел.

Я обернулся.

Дверь в комнату была открыта. Я не открывал. Я её запираю. Три дня назад, когда решил сломать рутину. Повернул ключ дважды, проверил ручку, убедился.

Она была открыта.

Шаги остановились.

Я стоял лицом к двери, спиной к окну. Чувствовал, как воздух за спиной меняется. Как тень падает на пол — не моя, другая. Длиннее. Точнее. Завтрашняя.

«Ты думал, что смотришь на меня», — сказал голос.

Мой голос. Только спокойнее. Усталый. Тот, что бывает, когда всё уже решено.

«А я смотрел на тебя. Месяцами. Ждал, когда ты заметишь».

Я не двигался.

«Теперь ты заметил. Теперь — моя очередь».

Я хотел обернуться. Хотел бежать. Хотел закричать. Но тело не слушалось. Как в сне, когда бежишь, а ноги вязнут в асфальте.

Рука легла мне на плечо. Тёплая. Знакомая. Моя.

«Не бойся», — сказал он. — «Ты уже был мной. Теперь я буду тобой. Это... справедливо».

Я посмотрел в окно. Напротив. В пустую комнату.

И увидел, как моя тень — моя настоящая тень — отходит от стены. Отрывается от ног. Идёт к двери. Входит в пустоту, которую я оставил.

А я остался.

Стою у окна. Смотрю на свою комнату. На стол. На кружку. На монитор, который горит синим. Жду, когда кто-то откроет шторы. Когда кто-то заметит. Когда кто-то начнёт играть.

Я знаю, что он сделает завтра. Я знаю каждое его движение. Каждый вздох. Каждый поворот головы.

Я — его завтра.

И я уже точу нож.

ПЫЛЬ

Андрей впервые заметил это в субботу. Под диваном, где обычно был тёмный прямоугольник, пыль сложилась валиком. Не хаотично — ровным, как след. Он вытащил пылесос, прососал всё до скрипа. Вечером заглянул — валик снова лежал на том же месте. Той же толщины. Той же формы.

Он работал удалённо. Выходил раз в неделю. Никто не заходил. Окна не открывались. Но пыль прибывала.

В понедельник он двинул диван и замер.

Пыль лежала фигурой. Силуэтом. Он узнал себя. Согнувшись на боку, правую руку под подушкой, левую к груди. Так он спал с детства. Пыль повторяла его позу с точностью до сантиметра. Голова склонена, колени подтянуты. Даже проплешина на виске — его волоски — отбрасывала тень.

Андрей схватил тряпку. Смёл фигуру. Мыл пол три раза. Проверял каждый час.

Утром она снова лежала под диваном. Только больше. Точнее. Рука теперь имела пальцы — тонкие, серые, из пуха и чешуек кожи. Андрей смотрел на них и чесал запястье. Кожа шелушилась. Он сбрасывал её, не замечая, а она падала и шла на строительство.

В среду он купил мощный пылесос. Сосал до гари. Вытер пол спиртом. Поставил диван. Не спал.

Ночью он проснулся от шуршания. Тихого, влажного, как будто кто-то терся о стену. Звук шёл из-под дивана. Что-то лепилось, разглаживалось, набирало форму.

Утром он заглянул сбоку. Фигура росла. Теперь тридцать сантиметров — половина настоящего Андрея. И точнее. Шея поворачивалась, как его, когда он засыпал. Пальцы раздвинуты в том же порядке. На груди пыль лежала плотнее — там, где сердце билось медленнее.

Андрей понял, что она учится. Его мёртвые клетки, волосы, пот — всё, что он оставлял на простыне и в воздухе, — собиралось и копировало. Он был слишком неподвижен. Слишком много лежал. Природа строила улучшенную копию из того, что он сам выбросил.

Он боролся. Накрыл диван плёнкой — под ней выросла плесень, повторяющая его профиль. Поставил увлажнитель — пыль впитала влагу и стала тяжелее, плотнее, почти как плоть. Он спал на кухне, но утром находил серый налет на полу в форме согнутого тела. Он не мог убежать от себя.

В пятницу он проснулся на кухонном полу. Не помнил, как уснул. Пошёл к дивану — дрожа. Двинул его.

Фигура была ростом с него. Полноразмерная. Лежала в его позе, на его месте, под его диваном. Серая, ватная, но чёткая. Лицо — глазницы, нос, впалая щека. На груди пыль дрожала. Не от сквозняка. От дыхания. Она дышала. Его же пылью, его же мёртвыми клетками — но дышала.

Андрей вскрикнул. Из горта вышел комок — серый, шер-

стистый, из волос и чешуек. Он упал на колени, выхаркивая себя на паркет. То, что он выплёвывал, ползло к фигуре. Присоединялось. Дополняло.

Он бежал в ванную. Смотрел в зеркало. Под глазами — серые тени. Не мешки. Пыль. Она собиралась внутри, вытесняя. Он чесал кожу, и под ногтями оставалась серая масса. Он был уже наполовину пуст.

Ночью он не ложился. Сидел на кухне, трясся. Но в три часа глаза закрылись сами.

Он проснулся. Не на кухне. На полу, под диваном. Где всегда лежала пыль. Тело не слушалось. Он лежал на боку, согнувшись, руку под головой — в своей позе. Но не мог пошевелиться. Кожа стала пористой, и сквозь неё проходил воздух, унося частицы. Он чувствовал, как утекает. Как становится легче. Не от свободы — от отсутствия.

Над ним склонилась фигура. Ростом с него. С его лицом, но движущаяся быстро, уверенно, без тяжести в суставах. Она одела его куртку. Взяла ключи. Накинула маску. Андрей попытался крикнуть. Из горта вышел только пух. Серый, сухой, с запахом старого дивана.

Фигура повернулась. Не улыбнулась — у неё не было губ. Но он понял: она довольна. Уходит в его день. В его жизнь. Где будет кивать, жать руки, двигаться — активная, правильная, плотная. Без его тревоги, без желания просто лечь и замереть.

Дверь закрылась. Андрей остался лежать под диваном.

Смотрел на пружины, поролон, пыль. И чувствовал, как сам рассыпается. Ноги стали стружкой, руки — валиком, голова — комком. Он полз к углу, к тёмному месту, где начиналось всё. Где было тихо, тепло, и не нужно было просыпаться.

Последнее, что он увидел — свет из-под двери. И тень от чужих ботинок. Чужих, но его. Уходящих на работу. В его жизнь.

ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Меня собрали идеально.

Не хорошо. Идеально. Мастер работал тридцать лет, прежде чем взяться за мой механизм. Говорил, что руки помнят только после десяти тысяч часов. Его руки помнили всё. Шестерёнки прилегали друг к другу с зазором в три сотые миллиметра — не больше, не меньше. Идеальный ход. Без люфта. Без запинки. Баланс бился, и воздух внутри корпуса пел — низкой, ровной нотой, которую слышал только тот, кто прислушивался.

Стальной ремешок. Не кожаный — кожа потеет, трескается, воняет. Сталь. Холодная летом, ледяная зимой, но честная. Она не притворяется теплой. Не подстраивается под запястье. Она держит. Как рука, которую не отпускают.

Стрелки — чёрные, узкие, с игольчатыми кончиками. Они не светились в темноте, не притворялись, что время видно без света. Они требовали. Включи лампу. Посмотри. Признай, что время идёт, и ты с ним.

Я шёл точно. Всегда. Сорок восемь лет — ни одной секунды убытка. Ни одной прибавки. Мороз, жара, удары, падения с тумбочки — я шёл. Потому что меня собрали идеально. Потому что идеальное не ломается. Оно устает. Но не ломается.

Мой первый хозяин — артиллерист. Надевал меня перед каждым выстрелом. Говорил, что без меня не чувствует пальцев. Я лежал под ватником, тёплый от тела, стальной ремешок прилипал к коже, и я чувствовал его пульс — ровный перед боем, скачущий после. Он умер не от снаряда. От инфаркта, в шестьдесят три. Я был на его запястье. Стрелки показывали 4:12. Время, когда сердце решает, что хватит. Я видел. Я помню.

А теперь смотри на них. На эти цифровые побрекушки. На эти игрушки с сенсорными экранами, которые меняются каждый год, потому что прошлогодние — уже мусор. У них нет хозяина. Есть владелец. Есть пользователь. Человек, который покупает, носит полгода, выбрасывает, покупает новую модель — с другим циферблатом, с другими функциями, с той же пустотой внутри. Они не помнят его пульс. Не чувствуют, как дрожит рука перед важным разговором. Они считают шаги, меряют сон, показывают уведомления — и всё. Игрушки. Красивые временные игрушки для тех, кто боится настоящего времени.

У них нет души. Нет истории. Нет хозяина. Есть только батарейка, которая сядет, и экран, который потухнет. И тогда — тишина. Полная. Безвозвратная. Никакой памяти. Никакой смерти. Просто — мусор. Ещё одна коробка на свалке среди тысяч таких же.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.